

О СПИРИДОНОВОЙ М. А. — в ПКК

ИЗМАЙЛОВИЧ Александра Адольфовна, родилась в 1878 в Санкт-Петербурге, в дворянской семье офицера-артиллериста. Окончила Тифлисскую женскую гимназию, два года училась на частных курсах Лестгафта; вступила в партию социалистов-революционеров. До 1902 — служила учительница, затем занималась партийной работой. В 1905-1907 — участница Революции; состояла в членах Летучего боевого отряда Северной области. 14 января 1906 — участвовала вместе с эсером Иваном Пулиховым в покушении на минского губернатора П. Г. Курлова и полицмейстера Д. Д. Норова; арестована на месте преступления, содержалась в Пищаловском замке. 16 февраля приговорена к смертной казни с заменой на бессрочную каторгу и отправлена в Акатуйскую тюрьму; познакомилась там с Марией Спиридоновой и другими деятелями партии эсеров. В феврале 1917 — освобождена; как партийный пропагандист и организатор работала среди крестьян Черниговской губернии. К осени 1917 — приехала в Петроград, 19-27 ноября на учредительном съезде Партии левых эсеров была избрана членом ЦК. Принимала участие в Октябрьской революции; входила в левозероветскую фракцию ВЦИК 2-4-го созывов. С декабря 1917 — член Президиума ВЦИК. В апреле-мае 1918 — заведующая организационно-пропагандистским отделом Крестьянской секции ВЦИК¹. 10 июля 1918 — арестована после убийства посла Мирбаха и заключена на гауптвахте в Кремле, 10 августа освобождена². Выпустила брошюру "Послеоктябрьские ошибки" в ней особенно критиковала комитеты бедноты и красный террор. В январе 1919 — арестована в Минске за попытку выступления на крестьянском съезде, через 8 дней освобождена³. 29 октября 1919 — арестована на улице в Москве и заключена в Бутырскую тюрьму; в октябре 1920 — освобождена. 9 мая 1920 — вновь арестована, находилась под домашним арестом в тюремном лазарете ВЧК вместе с М. А. Спиридоновой, далее оставлена для ухода за ней в больнице⁴.

СПИРИДОНОВА Мария Александровна, родилась в 1884 в Тамбове, в семье коллежского секретаря. В 1902 — окончила Тамбовскую женскую гимназию. Проживала в Тамбове, работала конторщицей в дворянском собрании. Примкнула к местной организации эсеров, вступила в боевую дружину партии. В марте 1905 — арестована за участие в демонстрации, но вскоре освобождена. 16 января 1906 — на вокзале Борисоглебска смертельно ранила советника тамбовского губернатора Г. Н. Луженовского, выпустив в него пять пуль. (в 1905 — он отличился в подавлении революционных выступлений), после чего пыталась застрелиться, но не успела (подбежавший казак оглушил её прикладом), была зверски избита. 12 марта 1906 — приговорена к смертной казни через повешение; 16 дней провела в ожидании казни. 28 марта ей сообщили о замене смертной казни бессрочной каторгой, с июля отбывала ее в Акатуйской каторжной тюрьме. После февральской революции освобождена по распоряжению министра юстиции А. Ф. Керенского, 8 марта 1917 — прибыла в Читу, в мае приехала в Москву, стала играть одну из главных ролей среди левых эсеров. Войдя в состав Оргбюро левого крыла партии, работала в Петроградской организации, выступала в воинских частях, среди рабочих, призывая к прекращению войны, передаче земли крестьянам, а власти — Советам.

¹ Википедия ru.wikipedia.org...Измайлович,_Александра_Адольфовна...

² Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

³ Википедия ru.wikipedia.org...Измайлович,_Александра_Адольфовна...

⁴ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

Сотрудничала в газете "Земля и воля", была редактором журнала "Наш путь", входила в состав редколлегии газеты "Знамя труда"; выступая с программными заявлениями. Избрана председателем на Чрезвычайном и II Всероссийском крестьянском съездах, работала в ЦИК и в крестьянской секции ВЦИК. В период апреля-июня 1918 — круто изменила свою политическую позицию: от сотрудничества с большевиками, перешла в лагерь политических противников большевиков⁵. 6 июля 1918 — во время V Всероссийского съезда Советов, в числе других руководителей левых эсеров, была арестована и отправлена на гауптвахту в Кремль⁶. 27 ноября 1918 — приговорена к году тюрьмы, но, приняв во внимание «особые заслуги перед революцией», 29 ноября амнистирована и освобождена⁷. 10 февраля 1919 — вновь арестована по обвинению «в клевете на советскую власть и помощи тем самым контрреволюции», 24 февраля изолирована от политической и общественной деятельности на 1 год⁸; отправлена в Кремлёвскую больницу. В апреле 1919 — бежала с помощью эсеровского ЦК и находилась на нелегальном положении. 26 октября 1920 — вновь арестована и заключена в тюрьму⁹.

В конце июня 1921 — в Политический Красный Крест было передано письмо ее подруги Александры Адольфовны ИЗМАЙЛОВИЧ.

<29 июня 1921>

«ПИСЬМО А. А. ИЗМАЙЛОВИЧ
об М. А. СПИРИДОНОВОЙ.

Меня привезли к больной Марусе из Бутырок после года моего сидения у большевиков, 27 октября 1920 г<ода>.

Она была арестована в ночь на 26 октября, больная в тифу. Арестовали также и Б. Д. КАМКОВА, дежурившего эту ночь у ее постели. По его словам, ночная облава была грандиозная. Очевидно, квартиру М<аруси> в точности не знали. И прежде чем найти именно ее, врывались в несколько квартир в этом огромном доме (Тверская, 75) и поднимали с постели нескольких перепуганных до смерти обитательниц квартир с заявлением: "Вы — Спиридонова?" С бомбами, наганями, как на хорошую шайку бандитов.

Дело было не в одном тифе. Начиналось уже осложнение на нервной почве, вызванное, вероятно, невозможным поведением больной в начале болезни. Уже нося болезнь в себе (дизентерия, за ней сейчас же брюшной тиф), в 39°-40° жару она участвовала в долгих и трудных партийных заседаниях, писала статьи и, чувствуя, что заболевает, спешно сдавала шифр, адреса и пр<очее> товарищам. В нормальной обстановке это осложнение, м<ожет> б<ыть>, прошло бы очень быстро — в месяц, в два; арест и тюрьма, хотя и позолоченная, сделали то, что болезнь тянется и прогрессирует уже 9 месяцев. Меня привезли из Бутырок по требованию Бориса (Камкова). Его выпустили дня через 2-3 и позволили свободно посещать М<арусю> в любое время дня и ночи. В первые месяцы вообще наши тюремщики были необычайно либеральны. Не прибегали к насильственным переводам из одного места в другое, пускали Бориса, давали свидания и другим товарищам. С месяц продержали в Марусиной квартире. Стража, человек 5-6 чекистов, держала себя в высшей степени

⁵ Википедия ru.wikipedia.org...Спиридонова,_Мария_Александровна...

⁶ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

⁷ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

⁸ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

⁹ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

корректно, всячески старалась, чтобы больная не видела и не слышала их. Мы с Борисом ничего не говорили М<арусе> об ее аресте, да она и сама никогда не разговаривала об этом. Вообще, она почти постоянно молчала, стиснув зубы, а если говорила, то всегда шепотом и от других боялась громкого голоса. Она все время жила своей внутренней больной жизнью, своими кошмарами вне действительных условий. Но основным в ее кошмарах было одно: неволя, тюрьма, сознание творящихся насилий над другими и над ней. Ее окружают постоянно то царские жандармы, то Ленинские чекисты. Их образ принимали приходившие к ней доктора. Мы с Борисом становились, проводя их, сообщниками тюремщиков, в ее глазах предававшими ее. В таком состоянии привезли ее, с нашего согласия, из ее квартиры в лазарет ВЧК (для сотрудников, а не для заключенных). Внешние условия здесь были лучше, чем в ее комнатухе. Самый перевоз сильно встревожил ее. Главным образом, вероятно, автомобиль, связанный с впечатлениями уже предыдущих арестов и поездок в суд и из суда. Первое время на новом месте ей стало хуже. Ночь проходила в сплошных галлюцинациях. Мы с Борисом старались изо всех сил создать впечатление воли. Он уходил, приходил, мы мирно разговаривали около нее, старались смеяться, читали вслух, ели, пили чай. Он оставался часто ночевать. Заходила на короткое время Ира Каховская, потом Соня Богоявленская — этот живчик, молодая, веселая, способная расшевелить покойника. К Соне М<аруся> не могла привыкнуть, но приходы Бориса и Иры действовали на нее заметно благотворно. Не принимая сама участия в наших беседах, она любила садиться около и смотреть на нас. Лицо становилось спокойнее, из глаз уходило постоянное выражение тоски или ужаса. После 3 месяцев почти сплошь бессонных ночей, повергавших нас с Б<орисом> в смущение — как может существовать человек, почти не подкрепляясь сном, стала спать 5-6 часов в сутки. У нас явилась надежда, что болезнь уйдет, лишь бы только нормальные условия — прежде всего воздух, движение (тут ни о каких прогулках речи быть не могло, как и в ее квартире, и мы безвыходно просидели в 4 стенах больше 7 месяцев).

В феврале начались разговоры об освобождении М<аруси>. Бориса вызывали в ВЧК и показывали бумажку об освобождении ее и моем по болезни. Дело было, якобы, только за чьей-то подписью, чуть ли не Самсонова, который болен и не может подписать. Я отправила тогда почти все книги и белье на квартиру Богоявленской. Весь февраль дурачили нас с освобождением. В марте же вышло как раз наоборот. Напуганные, очевидно, Кронштадтом коммунисты начали хватать всех, кто не пресмыкался перед чрезвычайкой. Один за другим были арестованы посещавшие нас Борис, Ира, Соня. Об освобождении М<аруси> замолчали совершенно. "Где у нас гарантия, что она не выздоровеет по освобождении", — так мотивировал оставление в тюрьме больной Дзержинский. 3 месяца прошли у нас в абсолютной замкнутости. М<арусе> стало хуже, беспокойнее. Наступившая весна, потом лето, доходившее до нас только теплом солнца из узкого шумного переулочка, подчеркивало в несравненно более сильной степени нашу тюрьму. Мне, здоровому человеку и физически, и психически, стало очень тяжело безвыходное сиденье в 4 стенах, даже без получасовой прогулки, полагающейся при самом строгом тюремном режиме. Для нее, душевнобольной и туберкулезной, это означало развитие болезни шаг за шагом. Она и развивалась.

4-го июня вечером, когда я собралась уже укладывать М<арусю> спать, меня вызвал из комнаты приехавший из ВЧК следователь и с ним еще кто-то и объявили, что сейчас они должны перевезти нас в другое место. Я объяснила, что внезапный перевоз, без всякой подготовки и без помощи близких товарищей — Камкова, Каховской, Майорова, может

иметь очень нехорошие результаты для состояния больной. Мне в ответ было: "Я должен это постановление сегодня же привести в исполнение". Угрозе насилия мне пришлось подчиниться — перед лицом ее болезни на это нельзя было идти. Я была вынуждена, чтобы смягчить возможное физическое сопротивление больной, дать ей большую дозу снотворного. Перевоз был совершен, конечно, обычным способом — в автомобиле, что одно уже вселяло ей отвращение и ужас.

Во втором часу ночи мы очутились в новом помещении (как узнала только на другой день, в психиатрической Пречистенской лечебнице в Штатном переулке, раньше вольной, а с Пасхи этого года ставшей тюремной). Сырая, очевидно, давно нежилая комната, с наглухо замазанными обеими рамами окна (<сопровождающий> предупредительно заметил мне, что поднимается верх окна), с тяжелым запахом сырости и погреба после сухой, залитой солнцем на Варсонофьевском, встретила нас очень неприветливо. Частый деревянный переплет окна был принят М<арусей>, очевидно, за решетку, и она сразу же, только войдя в комнату, стала исследовать эту "решетку" и пилить ее пальцами и кистями рук, не зажившими еще от пиления спинки кровати в Варсонофьевском в плохие минуты. Я сейчас же ночью крошечным перочинным ножиком выставила обе рамы и раскрыла их. Она не ложилась всю ночь и в тоске металась по комнате.

В окно смотрели деревья, пели соловьи. В давно не раскрывавшуюся комнату пахло чудесным воздухом, напоенным ароматом тополей, берез. А за дверями мелькали шапки красноармейцев или чекистов, то с винтовкой, то с револьвером. По временам, ночью и днем, раздавались шальные выстрелы. С утра до ночи первую неделю кричал, пел и ругался один сумасшедший. М<аруся> стала бояться окна и двери и прятаться в самый темный угол при входе докторов.

Но не только так реагировала она на новую обстановку. Она наотрез отказалась принимать пищу и даже пить воду. Все мои уговоры, мольбы, упреки, все мои хитрости (я расставила еду на всех концах комнаты) — ничего не действовало. Она не объясняла мне, почему не ест. Только шептала о чекистах и жандармах, которых видела кругом — и за дверью, и за окном, и даже в комнате за креслами и столом. Я была в совершенном отчаянии. Доктора стали говорить об искусственном питании. Это было бы губительно для нее. То главное, чем она больна, — ненависть и ужас перед насилием, достигло бы при этом действительном акте насилия таких размеров, которых она бы не выдержала даже физически. Сыграла бы здесь губительную роль и ассоциация этого акта насилия со всеми теми издевательствами, которые она перенесла в 1906 году от царских жандармов и казаков. Я наотрез отказалась от применения искусственного питания. Ища средств ее спасения, я схватилась за одно: м<ожет> б<ыть>, Борис, бывший со мной около нее больше 4 месяцев ее болезни, сумеет повлиять на нее, и она будет есть. 9 июня, в конце 5-го дня ее сухой голодовки я написала в ВЧК о желательности уговора Камкова. В этот же день вечером привезли его из тюрьмы ВЧК.

Она узнала его и хорошо отнеслась к нему. Но... наша цель не достигалась. Упорно, с сознательностью как будто совсем здорового человека она продолжала не есть. На 5-6 день она стала сильно слабеть. Лежала неподвижно, с исхудавшим лицом и застывшим выражением тоски и ужаса глазами, часто хватаясь за сердце. Спала 3-4 часа в сутки. Пульс отбивал 120-130, доходя при появлении врачей, пугавших ее, и до 180. Я стала класть днем и ночью холодную мокрую тряпку ей на сердце. Это давало ей заметное улучшение. Борису удалось 2 раза вытащить ее в садик, когда она особенно тосковала, ходить уже она не могла. Он вынес ее на руках и посадил в саду на скамейку. Но она пролежала с закрытыми

глазами, и вся тряслась мелкой дрожью (был теплый вечер — один раз, другой раз тоже — теплое, очень раннее утро). Потом это нельзя было повторять — ей, видимо, трудно стало ворочаться в постели. На 7-й день голодовки (СУХОЙ, что нас особенно пугало) мы послали заявление в Президиум ВЧК, требуя единственной меры, могущей спасти М<арусю> — ее немедленного освобождения.

Ответ на наше заявление был замечателен по цинизму, где за столом сидели 2 представителя ВЧК (женщина-врач Файнберг и следователь Козловский) и несколько врачей лечебницы. Старший врач прочел мне адресованную ему бумажку, подписанную членом Президиума ВЧК Самсоновым и предложил мне на ней расписаться. В ней предлагалось старшему врачу лечебницы применить искусственное питание к "Онуфриевой" (ЧК упорно звали здесь М<арусю> "Онуфриевой", скрывая от врачей ее настоящее имя). Это был, конечно, секрет Полишинеля, только с согласия ее "партийной опекуны" Измайлович, возложивши ответственность за тот или иной исход на Измайлович. Я не ограничилась только подписью своей фамилии, а выразила свое отношение к любезному предложению ЧК.

Пока я писала, около меня за столом шел мирный разговор между чекистами, — врачом Файнберг и здешним врачом, об устройстве амбулатории и еще о чем-то будничном, личном. Передо мной вдруг стало далекое, казалось, забытое впечатление: я в круглой башне Минской тюрьмы, приговоренная к смертной казни, читаю газеты, проникшие ко мне через все тюремные запреты и заставы. Это была эпоха разделки царского правительства с революцией 1905 г<ода>. Каждый день газеты говорили о новых и новых смертных казнях и каждый день эти же газеты на 4-й странице весело щебетали о спектаклях, операх и балетах и таким диссонансом веяло в душу от сопоставления этого щебетания и этих мартирологов, что душа отказывалась это понимать. И сейчас такой же диссонанс ударил по мне. Умирает тут в нескольких шагах человек, вся жизнь которого была посвящена революции. Чиновники читают смертный приговор мне, самому близкому его человеку, и любезно предлагают мне расписаться, что это не они, а я убиваю его. А в ожидании моей расписки равнодушно толкуют о своих текущих делах. Я написала приблизительно следующее: "Катастрофически тяжелое положение больной М. А. Спиридоновой по глубокому убеждению нашему с тов<арищем> Камковым, наблюдавших весь ход развития ее болезни, м<ожет> б<ыть> изменено только радикальной переменой обстановки, т<о> е<сть> свободой, т<ак> к<ак> основными причинами развития болезни является сознание его насилия, неволи, тюрьмы. Применение к больной насильственного питания вызовет, несомненно, ускорение ее гибели и увеличит ее мучительность в связи с пережитыми ею насилиями от царских казаков и жандармов, сливающихся в ее больном сознании с чекистами. Предоставление мне выбора: применить ли насиль<ственное> питание или нет — совершенно равносильно предоставлению мне выбора смертной казни над больной. Решительно отказываясь от применения искусственного питания и, выбирая способ казни более замедленный, я еще раз указываю, что смерть Спиридоновой ляжет всецело на теперешних вершителей судеб России". И устно поблагодарила их за своеобразный либерализм, возвращающий нас к временам Сократа, когда "приговоренным к смерти предоставляли выбор казни".

После меня пошел Борис. Возмущенный цинизмом их бумажки, он разразился там целой речью. Опять аналогия. Как при царизме, во время последнего слова революционера на суде, чуть не каждые 3 минуты меняли караул в зале суда во избежание "его разложения", так и сейчас, когда Борис говорил громко, возбужденно, отсылали подальше всю

бывшую около нас стражу и больничных служителей. Он назвал невероятным цинизмом факт сложения с себя ответственности на человека, самого близкого больной, вконец измученного, который, м<ожет> б<ыть>, будет не в состоянии перенести смерть Спиридоновой. Обрушился на врачей, что они подчиняются полицейским указаниям относительно искусственного питания. "Я принимаю ваш вызов, — заявил старший врач, — Ваши аргументы имели бы основание, если бы дело шло о здоровом заключенном. Вопрос касается душевно больного человека, который убивается голодной смертью, находясь в бессознательном состоянии и здесь медицина требует применения насилия".

"А если, — сказал Борис, — вы так уже познакомились с обстановкой болезни, с основной ее причиной, познакомились с историческим прошлым больной, со всем его сложившимся, вследствие тяжчайших испытаний, характером, если, я вам уже сказал, что даже на царской каторге она была "неприкосновенной", и это теперь главным пунктом ее болезни является тюрьма и насилие над нею... вы и теперь будете говорить только об одном целебном средстве". Врачи стояли молча, опустив голову. Чекистка, врач Файнберг начала: "Мы, как врачи..." Б<орис> оборвал ее: "Вы — не врач, вы — чекист. Как вы смеете присваивать себе честное звание врача. Вы на все можете смотреть только с точки охранения, а не с точки зрения интересов больного. Но я спрашиваю вас всех остальных. Где ваше гражданское мужество? Где оно, не оставившее вас в годы царского режима? Вы тогда умели защищать больного и не подчиняться охранке. А сейчас вы сидите, как напуганные щенята, и допускаете ничем не прикрытое убийство".

Б<орис> ушел. Потом с полдороги вернулся: "Дайте мне ответ Измайлович. Я хочу тоже подписаться. Это Ленин убивает Спиридонову. Пусть знает, что мы это знаем". Какое состояние невыразимой муки смотреть, как час за часом, день за днем уходила жизнь из нее. Смотреть и ничего не быть в состоянии сделать, чтобы остановить угасание жизни. Для меня особенно ужасны были ночи, когда она засыпала на час, на два, я начинала сомневаться, жива ли она, дышит ли, тихо подкрадывалась к ней и слушала ее дыхание. Исхудание в лице остановилось. Начались отеки лица. Глаза стали совершенно сознательными, с любовью и лаской смотрели на нас с Б<орисом> и ничего нельзя было сделать... Наши уговоры не могли поколебать ее очевидную решимость умереть. Дать знать на волю, чтобы оттуда потребовать ее спасения, не было никакой возможности; кругом нас были или шпики, или провокаторы, или необычайно трусливые чиновники. По двору мимо нашего окна ходили только двое больных и оба, как я скоро узнала, отделенные от других, т<ак> к<ак> их все заключенные били: один — бывший чекист, попавшийся в воровстве, другой — белогвардеец, искалеченный, подобно многим другим жертвам, чрезвычайными допросами, до полной потери человеческого облика. Около нашей двери дежурили несомненные чекистки, заводившие со мной и с Б<орисом> провокационные разговоры и высказывавшие утрированное сочувствие нам и возмущение правительством.

Еще до Бориса, в безвыходном отчаянии я рискнула все-таки очень малонадежным способом послать на волю письмо (без адреса, с просьбой передать кому-нибудь из лев<ых> с<оциалистов>-р<еволюционеров>, максим<алистов> или анарх<истов>). Как после я узнала, письмо это провалилось. Слежка была поставлена на редкость. На прогулке, когда мне удавалось выходить, всюду во всех, очевидно, нарочно просверленных дырках в заборе, то и дело встречаешь наблюдающий тебя глаз, слышишь заглушенный шепот (они хотят быть невидимыми и неслышными), нервирует это ужасно. Как будет чувствовать себя в этом

шпиковском месте она, боящаяся двери, окна, замочной скважины, если только она будет когда-нибудь выходить на воздух — не знаю совершенно.

На 10-й день голодовки Борису удалось-таки дать М<арусе> выпить глотка 2 чаю. Это было уже началом победы. Очень мало, раза 2 в сутки она стала пить. Но наши попытки дать ей выпить чаю со сбитым желтком не удались и вызвали гнев и отказ вообще от питья. Пришлось быть осторожнее с хитростями. На 12-й день голодовки, 15-го июня, Б<ориса> взяли. Внезапно, обманом. Вызвали за дверь, а минут через 5 пришли ко мне за его курткой и папиросами. Как-будто в комнате умирающей мы стали бы устраивать баррикады и не давать Бориса. Внезапность его исчезновения, без слова прощания, подействовала на М<арусю> удручающе. Она 2 дня искала его глазами и слабым шепотом звала его: "Борис, Борис"... Мне нельзя стало выходить из комнаты дольше нескольких минут. Она впадала в тревогу, что меня тоже возьмут. Меня не взяли. Доктора говорили, что она уже умирает. Одной мне, наедине с приближающейся смертью, стало неизмеримо тяжелее и, казалось, что тяжелее уже быть не может. На 14-й день, вечером 17-го июня, когда М<аруся> совсем уже ослабела, я глоток за глотком, влила в раскрывшиеся губы полужидкого чая с желтком. Она проглотила с закрытыми глазами. Я быстро сделала еще такую же порцию и повторила маневр. Я так мало знаю, что это было, — результат ослабления воли в связи с физичес<ким> угасанием организма или же инстинкт жизни пробил себе дорогу, в форме изменения ее внутреннего решения. Вернее, последнее. Об этом говорят первые дни, когда она начала есть. Получилось такое впечатление, будто в ней происходит борьба между старым решением и новым импульсом, так неохотно она начала принимать пищу, с такой видимой внутренней нерешительностью. Первые 2-3 дня она ела не больше 1 раза (1-2 яйца в сутки, стакан-полтора чаю и больше ничего). Но удивительно выносливый ее организм. После 13 дн<ей> 8-ми ч<асовой> голодовки, из которых 10 <дней> было сухой, пребывая еще в состоянии полуголодовки — на 1-2-х яйцах в день, она уже оделась, встала, заходила по комнате, правда, гораздо медленнее, чем обычно, с видимым трудом. Я упомянула, что в последние дни голодовки глаза ее стали необыкновенно сознательные, как будто она перестала отсутствовать из окружающей жизни, вошла в нее сама. У меня явилась надежда, что м<ожет> б<ыть>, эта физиологическая встряска организма послужит толчком, кот<орый> вернет ей сознание действительности. Надежда эта не осуществилась. Но я не ропщу на судьбу, могло быть гораздо хуже. Она могла умереть. Она осталась жива. Все доктора говорят, что в надлежащей обстановке, т<о> е<сть> свободе, болезнь может и даже должна пройти. Но они, как и мы, учитывают, что условия, являющиеся причиной развития болезни, упорно и постоянно продолжают свое губительное действие.

Сегодня, когда я пишу, прошло уже 1½ недели после конца голодовки. Ничего утешительного я не вижу в ближайшем будущем. Мы находимся почти в непрерывном состоянии тревоги.

Шальные выстрелы, раздающиеся время от времени где-то около нас, вызывают у нее мысль, что здесь рядом расстреливают. Она рвется на помощь к расстреливаемым. А когда я не пускаю ее, упрекает меня, что и я, как все кругом, прячусь из трусости. Пустить ее — она не посмотрит ни на какие двери и пойдет все дальше, пока не напорется на штык или нагайки Ленинских тюремщиков, и я не пускаю, а она мечется, разбивает себе руки в кровь об дверь и раздражается против меня.

На прогулку в садик, примыкающий почти непосредственно к нашей комнате, вытащить ее невозможно. А наша комната, если не выходить на воздух, ни для здоровья, ни для тела, ни для души. Она, видимо, чахнет. Я

писала в ВЧК о приезде Б. Камкова для помощи мне, в частности, с прогулкой, говорила и устно с Самсоновым о необходимости хотя бы в известном минимуме в создании подходящей обстановки для больной (приезд время от времени хотя бы 1 <из> заключенных товарищей, если им уж так страшны наши сношения с волей и пр<очее>). Но они видели в М<арусе> только опасного политического врага, они опираются на то, что мы члены враждебной им партии (такое было заявление Самсонова: "На войне, как на войне"). Болезнь же они игнорируют и выходит позорное дело ведения счетов с душевно больным человеком.

Совершается что-то неслыханно вопиющее. Наверное, такого не было ни у Деникина, ни в Венгрии, вряд ли даже и там надругивались над психически-больными: в течение почти года происходит истязание живой души человека, связанного с руками и ногами своей болезнью, беззащитного против экспериментов над ним. В больном мозгу тюрьма, ссылка и моральный гнет удесятятся и воспринимаются с острым страданием. Они знают из несчетного числа консилиумов и ежедневного наблюдения врачей, как серьезно больна М<аруся>, какой пыткой является для нее тюремное заключение, и намеренно оставляют ее в этих условиях. В том революционном все же упорстве, с каким она не принимает их гнета, они, как быдло, видят оскорбление себе и резко меняют условия к худшему. По-видимому, они хотят-таки добиться мучительного конца, и весь вопрос для них состоит только в том, чтобы о творящемся не узнали на воле. И в этом отношении они предприняли чудеса изоляции. Они любят душить, но душить втихомолку. Теперь они всячески хотят разделаться со мной — опасной для них свидетельницей всего происходящего. Об этом говорит вчерашнее посещение. Явились двое — Козловский и еще какой-то чекист, повыше его, очевидно, чином. Говорил последний, требовал от меня нечто вроде подписи или устного честного слова в том, что я не буду нарушать требований изоляции, как нарушала уже и "непосредственным путем и косвенным" ("непосредственно" — это, конечно, провалившееся письмо здесь в первые дни, "косвенно" же, думаю, по некоторым несомненным признакам, сделанная мною карандашом во время прогулки на коре березы надпись: "М. Спиридонова и А. Измайлович — чл<ены> п<артии> л<евых> с<оциалистов>-р<еволюционеров>", за день до их приезда, кстати, кора уже содрана охранниками, затем — мое упорное название М<аруси> докторам не "Онуфриевой", а "Спиридоновой". До чего завалены работой эти труженики, спасающие Россию и мировую революцию! Каждое дерево, каждую скамейку им надо осмотреть и выскоблить после прогулки арестанта и взять с него честное слово, что он не повторит своего преступления. В противном случае, без никаких гарантий они принуждены будут меня взять от больной и заменить кем-нибудь другим, напр<имер>, Каховской.

Это второе их требование расписки от меня по цинизму своему достойно первого, когда я должна была оставить им письменное доказательство, что не они, а я являюсь убийцей М<аруси>.

Что я могла им сказать на это, кроме следующего: "Никогда, ни при одном правительстве заключенные революционеры не входили со своими тюремщиками в договоренность о том, что они, заключенные, будут сидеть тише воды, ниже травы, что они отказываются называть черное черным, позорное — позорным и т<ак> д<алее>. Не может быть речи даже о каких бы то ни было гарантиях им. Что же касается того, что они хотят взять меня от больной, пусть они знают, что это может убить ее. Никакая замена не даст ей того, что даю ей я, 15 лет прожившая с ней почти неразлучно. Нужно не брать меня, а привести еще кого-нибудь из товарищей, чтобы создать минимально подходящую обстановку для улучшения состояния

больной.

До чего же дошли эти всеильные тюремщики и охранники. Как должна быть запугана, раздавлена, в железо скованна вся страна, как должна быть она развращена этой молчаливой покорностью, чтобы могло им даже в голову прийти обращаться с подобным требованием к находящемуся у них в плену революционеру. Пока я не знаю, что это было — предостережение, угроза или уже объявление мне открытия военных действий. Ира, конечно, отказалась, по словам говорившего со мной, ехать сюда, не получив предварительного моего согласия на замену.

Я жду всего. Замены меня санитаркой-чекисткой, значит, М<аруся> будет подвергнута таким пыткам, с которыми не сравнятся ею испытанные физически в 1906 г<оду> от царских агентов. Будет невероятное, утонченное, ежеминутное насильничанье чужого, грубого и враждебного человека, и с огромной саморазрушительной силой и настойчивостью противоборство М<аруси> этому насильничеству. И, если царская каторга не доконала ее, то теперь это будет с успехом достигнуто.

29/VI - <19>21 г<ода>»¹⁰.

В ноябре 1921 — Александра Адольфовна ИЗМАЙЛОВИЧ освобождена под честное слово на 2-3 недели, находилась с М. А. Спиридоновой в Малаховке под надзором ВЧК. В начале 1923 — арестована, в мае приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в Туруханский край¹¹. В январе 1925 — приговорена «за подпольную антибольшевистскую деятельность» к 5 годам ссылки и отправлена в Самарканд, позднее переведена в Ташкент¹². В 1930 — арестована там, отправлена в Москву и заключена в Бутырскую тюрьму. В 1930 — приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в Уфу¹³, позднее срок ссылки был продлен на 5 лет. 8 февраля 1937 — арестована в Уфе по групповому делу, 25 декабря приговорена к 10 годам тюремного заключения и отправлена в Орловскую тюрьму¹⁴. 8 сентября 1941 — по обвинению «в антисоветской агитации, распространение клеветнических измышлений о мероприятиях ВКП (б) и советского правительства» приговорена к высшей мере наказания. 11 сентября расстреляна¹⁵ вместе с другими политзаключенными в Медведовском лесу под Орлом.

13 сентября 1921 — Мария Александровна СПИРИДОНОВА была освобождена под поручительство руководителей эсеров и обязательство, что она никогда не будет заниматься политической деятельностью¹⁶. Жила на даче ВЦСПС в подмосковной Малаховке под надзором ВЧК. В 1923 — неудачно пыталась бежать за границу и была осуждена на 3 года тюрьмы; содержалась в Ярославской тюрьме, позднее в Суздальском политизоляторе; с 1925 — находилась в ссылке в Самарканде, с 1928 по 1930 — в ссылке в Ташкенте; летом отправлена в туберкулезный санаторий в Ялте. 17 сентября 1930 — арестована по обвинению «в связях с иностранными левыми эсерами и попытках нелегальной деятельности». 3 января 1931 — вновь приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в Уфу, там срок ссылки был продлен на 5 лет¹⁷. Вышла замуж за И. А. Майорова. В Уфе жила "коммуной" с мужем, пасынком, свекром и двумя своими подругами — Ириной Каховской и

¹⁰ ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1. Д. 58. Л. 5-7. Машинопись.

¹¹ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

¹² Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

¹³ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

¹⁴ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

¹⁵ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

¹⁶ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

¹⁷ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

Александрой Измайлович¹⁸; работала в Башкирской конторе Госбанка. В 1937 — арестована в Уфе, обвинялась в том, что «до дня ареста входила в состав объединённого эсеровского центра и в целях развёртывания широкой контрреволюционной террористической деятельности организовывала террористические и вредительские группы в Уфе, Горьком, Тобольске, Куйбышеве и других городах». Содержалась в Уфимской тюрьме, а затем в Москве в Бутырской тюрьме. Приговорена к 25 годам тюремного заключения и отправлена в Ярославскую тюрьму¹⁹, позднее переведена в Орловскую тюрьму. 8 сентября 1941 — по обвинению «в антисоветской агитации, распространение клеветнических измышлений о мероприятиях ВКП (б) и советского правительства» приговорена к высшей мере наказания. 11 сентября 1941 — расстреляна в Медведевском лесу под Орлом (вместе с мужем, Александрой Измайлович и другими 151 политическими заключёнными Орловской тюрьмы)²⁰.

¹⁸ Википедия ru.wikipedia.org... Спиридонова, Мария Александровна...

¹⁹ Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004.

²⁰ Википедия ru.wikipedia.org... Спиридонова, Мария Александровна...